

Ilya Iosifovich Piatetski-Shapiro

17 ноября 1978 года, Итака, Нью-Йорк

Илья Иосифович Пятецкий-Шапиро: Я сижу в прекрасном доме Евгения Борисовича Дынкина, после прекрасного ужина, и мы вспоминаем былое. Я вспоминаю своё детство. Одно из самых первых предвоенных воспоминаний --- это газеты с процессами. Во времена последних процессов мне было около 10 лет. И я читал список людей, бывших великими.

Евгений Борисович Дынкин: Вы наверное в 1927 году родились, да?

И.И.: В 1929. В 1939 году был последний процесс.

И я помню, что тогда я уже отчетливо понимал, что это всё просто элементарная борьба за власть. Но надо молчать. Уже тогда было очень голодно и тогда было чувство крайней придавленности.

Ещё более тяжелое воспоминание моего детства --- это военные годы. Я был молод, и я не участвовал в войне. Вместе с родителями в конце 1941 года я уехал в так называемую эвакуацию, то есть нас вывезли из Москвы в город на севере России, город Киров. И там впервые я столкнулся с жутким антисемитизмом. Вероятно, причиной этого был просто общий голод и естественная для всякого человеческого существа нелюбовь к чужаку. Я, кажется, был единственный еврей в классе, и все остальные, как мальчишки, так и девочки, травили меня, издевались. Особенно еще это было тяжело, потому что родители воспитывали меня в таком чрезвычайно неприспособленном к жизни стиле. Я был вроде маменького сынка и вынести такую непрерывную груду издевательств было очень тяжело.

Так я осознал себя евреем. Родители очень боялись. Хотя, как я узнал потом, у дедушки было место в синагоге, и он ходил в синагогу до самого конца своей жизни. Кстати, потом я узнал легенду, что дедушка, выбрав удачный момент, когда моих родителей не было, совершил обрезание. Он видимо знал, куда приедет его внук.

Это был страшный период в жизни, и так я себя почувствовал евреем --- но это может быть и хорошо.

Е.Б.: А вот скажите, пожалуйста, (пусть это будет диалог, это не страшно), кто-нибудь из ваших близких родственнков все-таки подвергался гонениям или вы в этом смысле оказались благополучны?

И.И.: Да, у меня был дядя, который был известным в Москве юристом, его звали Лев Григорьевич. И он был посажен в лагерь, поскольку он был знаком с одним из очень видных деятелей --- первым наркомом юстиции Крыленко, первым главверхом Крыленко. И это было главной причиной. Дядя был посажен в лагерь и потом умер в лагере.

Е.Б.: Понятно. Но ваши родители и дед?..

И.И.: Папа мой как-то сумел всегда сохранять столь маленькую позицию, что его не преследовали. А дедушка был нэпманом. И его, как бы так сказать, ограбили --- как всех. Но это уже мелочи, что говорить. Но так он умер как все.

Е.Б.: Мой отец --- я не знаю, знаете ли вы или нет, но он всю жизнь подвергался всяким гонениям и в конце концов в 1937 году он был арестован. И я получил справку о реабилитации в которой было указано, что он умер от гипертонии в 1941 году, что получил десять лет без права переписки.

И.И.: Видимо дядя мой Лев Григорьевич --- он тоже, его родные получили справку, что он умер в 1943 году в лагере по каким-то видимо тоже медицинским причинам. На самом деле никто, конечно, не знает, кто когда умер в этой ситуации.

В 1946 году я поступил на мехмат.

Е.Б.: Вы ходили в какие-нибудь кружки до этого?

И.И.: Да, да.

Е.Б.: К кому вы ходили?

И.И.: Я не помню, к кому я ходил, но я помню, что это был очень важный элемент жизни: я ходил в кружки, участвовал в олимпиадах, и у меня не было никаких сомнений в том, какую я должен выбрать себе специальность. Хотя папа мой относился к этому очень критически.

Е.Б.: Вы знаете, что моя мать по этому поводу считала, когда я решил пойти на мехмат (это было накануне войны)? Она считала, что мне надо идти на медицинский, чтобы стать доктором, потому что у врача максимальные шансы выжить в лагере, когда арестуют.

И.И.: У нас все же в семье не было такого гнета лагеря. Хотя родители и очень боялись.

Е.Б.: Так что, вы в сорок шестом году поступили на мехмат --- это было просто в те времена, никаких проблем не было?

И.И.: Поскольку я ходил на кружки, у меня были какие-то знакомые, и до меня уже доходили слухи, что при приеме в аспирантуру была какая-то дискриминация. По сравнению с тем, что сейчас, это, вероятно, нельзя назвать дискриминацией, но это уже было как бы начало. Потом я стал учиться, и как-то на первых курсах уже стало чувствоваться, кто еврей, кто не еврей. Скажем, были какие-то повышенные стипендии --- сталинские, всякие --- их давали каким-то людям с заслугами нематематическими. Потом когда стало поближе к аспирантуре, уже было ясно, что я в аспирантуру попасть не могу.

Е.Б.: Расскажите немножко про ваши университетские годы.

И.И.: В то время университетские годы у меня прошли, я считаю, очень удачно. Я успел сделать несколько хороших работ и провел их очень эффективно.

Е.Б.: Кто с вами на одном курсе был из тех людей, которые сейчас более-менее известны?

И.И.: Разные люди. В частности, на одном курсе со мной был Лидский, например, Годунов, Мищенко --- теперешний замдиректор института Стеклова, некий Федоров --- ну этого вы не знаете.

Е.Б.: Федорова я не знаю. А тесное содружество вы помните?

ТВД

И.И.: Они были старше.

Е.Б.: Я был в это время уже доцентом, по-моему. И я присутствовал на этом собрании.

И.И.: Да, я помню, это был ужасный период.

Е.Б.: Да, а до вас это доходило как-то или нет?

И.И.: Да, мы это очень все переживали, и очень тоже отчетливо понимали что к чему, но как-то уже было ясно, что надо молчать.

Е.Б.: Да, вот Фрейман тоже немножко пишет, по-моему, об этом тесном содружестве, я это очень хорошо помню. Между прочим, я помню, как Курош был вовлечен.

И.И.: Это было, примерно на год старше меня, они в основном были, может быть на два года старше.

Е.Б.: Курош в это был вовлечен таким образом. С кем-то он из своих учеников разговаривал --- конечно, очень благожелательно. Курош вообще был воинствующим анти-антисемитом, то есть был против всякого антисемитизма настроен. И кому-то он объяснял вот все эти вещи. И тот по наивности (я сейчас не помню имени этого студента) сослался на Куроша. И он попал в ужасно трудное положение. На этом собрании он должен был отречься: что меня неправильно поняли, я не то говорил, или что-то в этом роде --- это было ужасное зрелище.

Ну а как с аспирантурой происходило дело, с приемом в аспирантуру?

И.И.: Я был учеником Гельфонда. Надо сказать, это вообще очень интересно. Я в каком-то смысле был близким к нему в человеческом отношении. И кроме того, мне ещё с доуниверситетских лет очень нравилась теория чисел. Но работал я всё время в каких-то вопросах не в самой теории чисел, а около теории чисел --- в тригонометрических рядах, там. Но все же, было какое-то незримое соглашение, и он был ответственен за то, чтобы как-то меня устроить. Он был чрезвычайно хороший человек, удивительно добрый, мягкий, о котором я сохранил самые лучшие воспоминания.

Потом уже через много лет я был у него на кафедре. В тот момент, когда ситуация несколько улучшилась, я в течение какого-то периода был профессором его кафедры по совместительству. Но как только он умер, через очень небольшой период меня нашли способ вытурить из Московского Университета.

Е.Б.: А вот Шидловский же тоже его ученик? Как это было устроено?

И.И.: Да. Шидловский меня и вытурил. Причем он всегда был, так сказать, моим приятелем. Он говорил: "А, Илья...", --- мы с ним всегда были на ты. Это, в общем-то, означает, что в другой ситуации он был бы действительно моим искренним приятелем. Ему было безразлично, он не был принципиальным антисемитом.

Е.Б.: Да, у него никаких тактх чувств биологических не было.

И.И.: Это просто вопрос карьеры. А он сделал какую-то неплохую работу, Александр Осипович Гельфонд был просто добрый человек, и он помогал всем. Так это и было.

Все же отец Александра Осиповича Гельфонда был довольно видный революционер. Меньшевик, правда, которого Ленин критиковал даже. Так что в работах Ленина встречается его имя.

Е.Б.: Так же как Юшкевич. По-видимому это самое, deviation, отклонение, философии с математикой как-то коррелируют. По крайней мере в следующем поколении.

И.И.: Да быть может это инициирует. Философские ошибки инициируют хорошие математические работы, видимо.

Значит, по поводу моей аспирантуры, я помню одного из моих приятелей, Лабута.

Е.Б. Это сын тихого еврея?

И.И.: Да, сын тихого еврея, о котором писал Маяковский. Он был на моём курсе и он очень удачно острил, что Московский Университет и Педагогический институт боролись за Пятецкого-Шапиро, чтобы не взять его в аспирантуру, но поскольку Московский Университет оказался сильнее, то он заставил Педагогический институт взять. Такова была жизнь.

В общем, благодаря усилиям Александра Осиповича я попал в аспирантуру Педагогического института. Интересно, что я попал вместе с моим приятелем Юрием Исааковичем Соркиным. Это был относительно неплохой математик, который, к сожалению, потом стал очень много пить, и потом, уже после аспирантуры я потерял его след. Вот в воспоминаниях Фреймана нечто говорится о его сыне: описывается история как его сына не взяли на мехмат.

Интересно, что на первых курсе Соркин сам был у нас в самых больших людях: он был секретарем комсомольской организации. Но на последнем курсе он был в самых преследуемых людях --- все изменилось. Маленькая

флуктуация. Все же он был Юрий Исаакович Соркин, и он воспринимался как еврей.

Е.Б.: Самое главное было не то, что он Соркин, не то, что он Юрий, а то, что он Исаакович.

И.И.: Да. И такой общий стиль поведения.

Это были годы моей аспирантуры. Это были очень суровые, напряженные годы. Дело врачей было в эти годы. Ну и перед этим было очень тяжело, естественно. Оно же не сразу так возникло. В некий момент некоторые начальники вспыхнули и решили послать нас в железнодорожную школу в среднюю Азию.

Е.Б.: После окончания аспирантуры?

И.И.: Нет, во время окончания аспирантуры. Нас уволили из аспирантуры.

Е.Б.: Прямо выгнали из аспирантуры?

И.И.: Да. Был приказ по министерству нас уволить. Дело в том, что тогда существовала такая система распределения. И хотя нас распределили в аспирантуру, но потом в результате каких-то недоразумений нас перераспределили в железнодорожную школу в Средней Азии. И потом эта железнодорожная школа нас потребовала, и министерство уволило нас из аспирантуры. Но вот что интересно (это интересно для природы антисемитизма, который был тогда) директор этого педагогического института (совершенно русский человек, и потом после смерти Сталина он опять пошел в гору), он не выполнил приказ министерства, поскольку профессор, у которого мы были, объяснил, что мы способные люди. Все-таки в то время старые партийцы считали еще, что евреи полезные люди, не все ещё прониклись новыми идеями. Лет через десять-пятнадцать это было бы уже совершенно невозможно. Сейчас антисемитизм в России стал, так сказать, делом всех людей. Но в это время была все же другая ситуация. Он не выполнил приказ министерства.

Е.Б.: Вы не помните его имени?

И.И.: Поликарпов.

Е.Б.: Заступался за вас кто? Гельфонд тоже?

И.И.: Да, заступался Гельфонд. Но потом, благодаря тому, что Юра Соркин был очень сообразительный, мы нашли какой-то способ, и та школа от нас просто отказалась. И таким образом проблема была решена.

Е.Б.: А возможности Гельфонда были уже ограничены в это время? Кто был вашим формальным руководителем в Пединституте? Гельфонд же там не работал, по видимому?

И.И.: Формальный руководитель был Бухштаб.

Е.Б.: А Бухштаб вел себя хорошо?

И.И.: Он вел себя хорошо, да.

Надо сказать, что в это время мы уже очень отчетливо чувствовали, что мы евреи. У нас интересная система приема была, как мы попали в Пединститут.

Е.Б.: Вы --- это кто?

И.И.: Я и Соркин. Мы вдвоем попали из университета в аспирантуру Пединститута. Это в общем загадка. Потому что нужно было сдавать вступительные экзамены. Среди вступительных экзаменов был экзамен по философии, или по марксизму-ленинизму, я уже забыл. На этой кафедре была жесткая дисциплина. Этот экзамен ставился по очень простому принципу: жид --- двойка. Какие-то были совершенно загадочные отклонения, когда когда евреи получали тройку. Но это было ещё известно всюду. Ни в одно другое высшее заведение в Москве или даже в Советском Союзе, я думаю, нельзя было поступить в аспирантуру с тройкой по главной специальности, марксизму-ленинизму. Но нравы этой кафедре были известны всему начальству, и с тройками брали, поскольку ни одному еврею никогда не ставили троек, больше чем тройку, это было исключено. И тройки ставились настолько редко... А все же евреев ещё тогда брали.

Наш профессор присутствовал на этом экзамене, потому что это был единственный способ оказать какое-то влияние.

Е.Б.: Ваш профессор это был Бухштаб?

И.И.: Бухштаб, да. Он же был заведующим кафедры. Потом он разговаривал об оценке, какую нам поставили оценку. Хотя мы ответили, насколько я помню всё, ему сказали что оценку они поставить не могут без заведующего кафедрой. Таким образом, решение принимал заведующий кафедрой --- без всякой корреляции с ответом.

Е.Б.: Вы знаете, я однажды как член ГЭКа, государственной экспертной комиссии, в какой-то период моей карьеры, участвовал в экзамене по марксизму-ленинизму. Но не приемном, а выпускном. И должен вам сказать, что это было ужасно. То есть дважды это было. Один раз это было в период какого-то просветления, так что они были очень либеральны, эти экзаменаторы. И всех пропускали как-то без ничего. И даже натаскивали, какие-то наводящие вопросы задавали. Я сейчас не помню, какой же это был год. А потом, через год или два это всё уже было совершенно по-другому. Задавались, например, такие вопросы: кто ваши родители, верите ли вы в бога --- какие-то очень странные вопросы для экзамена. И чувствовалась *атмосфера*? Ну я, конечно, просто сидел рядом.

Да и это вот ваша аспирантура. Ну а после аспирантуры?

И.И.: После аспирантуры я уехал на три года в Калугу. И там я продолжал работать. Во время аспирантуры я начал работать вместе с Шафаревичем по автоморфным функциям. После аспирантуры я продолжал над этим работать. И через три года я вернулся.

Е.Б.: А как вы вернулись?

И.И.: Просто в этом месте --- Калуга, Пединститут --- я им так не особенно был нужен. Обычно туда люди приезжали и уезжали через полгода. Поэтому когда я проторчал все три года, они были даже как-то удивлены, и они уже охотно меня отпустили.

В это время я встретился с Гельфандом, который --- я так и не знаю, может быть частично по совету Шафаревича --- предложил мне работать у него. Это было секретное, так сказать "в русском смысле", учреждение. Это учреждение называлось ОПМ --- Отделение Прикладной Математики. Это название было как бы шифром: на самом деле, это был отдельный институт, а название было Отделение Прикладной Математики Математического Института Стеклова --- просто для того, чтобы создать такой камуфляж.

Е.Б.: И это в каком году было, примерно?

И.И. Это было уже после смерти Сталина. Я защитил диссертацию в 1954 году --- кандидатскую в 1954 году и докторскую в 1959 году. Значит, это было в 1958 году.

Кстати, я помню интересное время, когда начался этот самый процесс врачей, когда был опубликован. Было какое-то жуткое ощущение. У меня всё время было подсознательное ощущение, что нас вот-вот выселят, всех евреев. Я не помню, чтобы я прямо с кем-нибудь это обсуждал, но было всё время такое ощущение. Мне почему-то запомнился странный случай: я пошел в баню, и вот я чувствовал, что, может быть, это я последний раз иду в баню в Москве. Очень странное подсознательное ощущение, я не могу дать рационального обоснования. Но вот как странно советская бюрократическая система работает --- почти одновременно с этим периодом я получил премию Математического Общества. А эта премия должна была утверждаться Министерством. Казалось бы, Министерство в этот момент не должно было утвердить.

Е.Б.: Но министерство утверждает. Во всяком случае, Математическое Общество в этом смысле всегда шагало не в ногу.

И.И.: Да. Правда премию дали теперешнему академику Юрию Васильевичу Прохорову и мне.

Е.Б.: Ну да. Мне дали премию вместе со Стечкиным --- казалось бы, ничего общего --- который выступал от нашего общего имени с каким-то ответным словом. Я уж не помню, какой это был год, но, в общем, это был какой-то тоже очень суровый год: 1951--1952. Математическое общество --- это вообще некоторая аномалия.

И.И.: Видимо, давление было не очень сильным на Математическое Общество.

Е.Б.: Математическое Общество до сих пор все-таки является аномалией --- в какой-то мере.

И.И.: Да, это поразительно. Судя по темпам развития, я думаю, что это будет не очень долго.

Е.Б.: Ну что ж, продолжайте, расскажите про людей.

И.И.: Это был очень приятный момент в жизни, я получил премию Математического Общества.

Е.Б.: Да вообще говоря, по-моему, премия математического общества это было что-то гораздо более хорошее, чем ленинская и сталинская премии. Конечно, и даже и премия математического общества --- я же потом уже долго был, среди тех, кто присуждал их, так что я очень хорошо себе представляю, что human relations, человеческие отношения всегда имеют очень большое значение. Но люди все-таки старались быть объективными, но просто кого лучше знали, кого результаты, специальность ближе...

И.И.: Я помню, что за меня, в основном, выступала, Нина Карловна Бари, и Александр Осипович Гельфонд поддерживал её. Но главной причиной были мои работы по тригонометрическим рядам.

Е.Б.: Ну да, но вот Минлосу не дали, например --- Колмогоров против был. Прекрасная работа была, знаменитая работа. А Колмогоров почему-то взъелся на неё.

И.И.: Ну, чем-то она ему не понравилась. Но я думаю, что это причины были не личные, а он по каким-то своим математическим причинам считал, что эта работа не адекватна чему-то.

Е.Б.: Вообще, Колмогоров личность сложная была.

И.И.: Ну да, у всех личности сложные. В особенности Гельфонд.

Е.Б.: Расскажите историю ваших отношений с Гельфондом.

И.И.: Ну эти отношения очень сложные. Лучше, пожалуй, начать с оценки этого человека. Я думаю, что это один из самых замечательных математиков нашего столетия, их немного таких. Но, видимо, великий человек не может быть одновременно и просто хорошим человеком. Я помню, что мой очень хороший товарищ --- ну он был, хотя и в частично учеником, но в каком-то смысле на равных в человеческом отношении с Гельфондом --- Миша Цетлин, он говорил о Гельфонде так: <<Спроси тебя, является ли Гельфонд хорошим человеком. Ты задумаешься, и спросишь определение хорошего человека.>>. Это, пожалуй, очень удачный ответ.

Главный элемент состоял в том, что Гельфонд хотел писать очень большое количество работ --- столь большое, что у него просто не было возможности вникать во все детали всех работ. И с таким большим количеством людей, что у него не было возможности даже толком познакомиться со своими соавторами. И в каких-то случаях я был согласен писать с ним совместные работы, но все же я считал, что я ему должен хоть что-то из этих совместных работ объяснить. Но постепенно в некоторых случаях мне стало казаться уже, что его вклада вообще даже нет, и что он их даже не понимает, и я должен все сделать сам --- это создавало некоторое напряжение. Но тем не менее, надо отдать Гельфонду должное, он чувствовал, когда протест становится уже слишком сильным, и в этот момент он начинал отступать. Кроме того, это личность, все-таки, очень человеческая, он никогда не был только математиком, он был (и есть) человек с большим количеством человеческих недостатков, в частности с чрезмерной любовью к сильным мира сего, но все-таки...

Е.Б.: У меня такое впечатление, что он считал себя большим дипломатом и политиком, каковым он не являлся.

И.И.: Первая часть верна, он считал себя чрезвычайно ловким человеком --- лучше такой термин употребить. На самом деле, я бы не сказал, что он таковым не являлся. Нет, он показал себя чрезвычайно ловким и умелым администратором. Например, в биологии он создал несколько первоклассных лабораторий. Кроме того, ему удавалось сохранять свой отдел в Институте Стеклова. Нет, в общем, я бы сказал, что он во многих отношениях является очень умелым человеком. Это может быть не сразу видно, но по такому человеческому стандарту он хорошо понимал структуру советской жизни и очень быстро понимал конкретную ситуацию --- не что было несколько лет назад, а что именно сейчас --- и ориентировался на неё. Может быть лучше, чем это следовало бы. Так что я думаю, что всё же умелым администратором он был, несомненно.

И надо сказать, что когда некоторое количество людей решило уезжать --- я кажется, был первым из этих людей, среди людей близких к нему --- он этот вопрос очень умело решил, так что его отдел не пострадал, во всяком случае.

Е.Б.: Расскажите про историю вашего отъезда.

И.И.: Прежде всего, надо объяснить отношение самого Гельфанда к этому. Пожалуй, первую фразу, которую надо сказать --- это то, что поскольку он создавал мне в момент отъезда довольно трудные ситуации, я был на него очень зол, но сейчас-то уже могу объективно и положительно о нем говорить.

Е.Б.: Объективно не обязательно положительно: объективно --- значит, частично положительно, частично нет.

И.И.: Прежде всего надо сказать, что сам Гельфанд, несомненно, думал об отъезде.

Е.Б.: Но не говорил, конечно?

И.И.: И в откровенных разговорах со своими учениками он иногда разговаривал так, что казалось, что он уедет --- особенно об еврейской проблеме: он говорил, что ситуация для евреев уже обсуждена, проходили сравнения с фашистской Германией, и так далее. То есть в разговорах с близкими учениками (а я был к нему очень близким человеком) он разговаривал на еврейские темы. Он никогда не приукрашивал, в особенности в последние годы, советскую политику, никогда не пытался утверждать, что антисемитизма нет, он был для этого (и есть) слишком умный человек. То есть иногда создавалось впечатление, что он вот-вот подаст. И надо сказать, что мне было тогда трудно осознать, как это можно: одновременно говорить такие зажигательные речи и в то же время не совершать никаких действий. Иногда разговоры с ним носили такой характер, что он как бы говорил <<что будет -- вот я подам, а последуете ли вы за мной?..>> и так далее --- но это последнее уже носило не прямой характер.

Должен сказать, что когда я приехал в Израиль, я встретил одного детского врача, который лечил внука Гельфанда. Детский врач -- это близкий, конечно, человек семье, но не самый близкий. Этот врач живет в Израиле и такой убежденный сионист --- очень хороший детский врач, одновременно друг и всех этих самых видных борцов, друг Воронеля, и так далее. Эмиль его имя было, фамилию не помню. Он говорил, что ему сын Гельфанда, Сережа Гельфанд, говорил, что у них вопрос о подаче стоит практически образом.

Надо сказать, что сейчас я ещё вспомнил про то, как в одном из разговоров, когда я уже решил подавать, когда уже у меня уже не было никакого отступления, мне Гельфанд говорил, что они тоже думали, и как когда он решил этого не делать, как ему легко стало жить. Я думаю, что это было искренне: и то, что они об этом думали, и то, что после того, как они решили этого не делать, ему стало легко жить. Видимо, на него главное впечатление произвел пример Лернера и Левича. И действительно, сейчас мы видим, что Левич ждал семь лет, и Гельфанд, будучи гораздо более крупным ученым, и ещё одновременно занимая формальный статус выше, чем Левич, вполне возможно, что вообще не смог бы уехать.

Е.Б.: У Гельфанда конечно было мало шансов, я не думаю, что его бы выпустили.

И.И.: Думаю, что нет, да, особенно сейчас. Поэтому я думаю, что он все же принял правильное решение. Тем более, что в конце концов, в общем, положение его...

Е.Б.: У него по советским стандартам сравнительно хорошее положение, да.

И.И.: Хорошее, прекрасное. Кроме того, у него ещё есть какие-то научные обязательства --- есть прекрасный семинар, и это много людей действительно осиротило бы (это, конечно, ко всем относится).

Е.Б.: С другой стороны, вот в последние годы фортуна ему подложила этого правительственного внука, которого ему надо привечать.

И.И.: Да, Гвишиани. Это видимо главный элемент. Надо сказать, что это тоже пример того, что Гельфанд очень умелый человек. Он умел использовать Гвишиани. Другой пример прозорливости Гельфанда состоит в том, что взял на работу дочку министра здравоохранения, Петровского.

Е.Б.: Кто-то мне про неё уже рассказывал, что она всем доставляла лекарства.

И.И.: Да, она доставала лекарства. Но конечно, не является большим достижением взять дочку министра здравоохранения, но вот только прозорливый человек может её взять вперед. А Гельфанд взял её на работу за примерно несколько месяцев до того, как Петровский был назначен министром здравоохранения, что показывает, несомненно, его прозорливость.

Е.Б.: А как на счет Косыгина?

И.И.: Косыгин, конечно, был премьер-министром давно, но Гельфанд просто сумел это использовать достаточно умелым образом. И конечно, это было главное, благодаря чему он стал ездить за границу.

Е.Б.: Я между прочим честно скажу, что так людям и объясняю, когда они говорят что вот Гельфанд ездит. Я говорю, что вы так и должны каждый раз должны спрашивать: не почему такого-то человека не пускают, а какие особые обстоятельства связаны с тем, что такого-то человека пускают. Вот у Гельфанда вполне благовидные обстоятельства. Просто повезло человеку...

Илья Иосифович Пятецкий-Шапиро: Такое было впечатление, что ЦК выделяло даже позицию для Гельфанда, но плотный поток академиков-антисемитов под руководством Ивана Матвеевича решил лечь костыми, но не пропустить Гельфанда в ряды русской академии. И, в конце концов, ЦК ничего с ними не смог сделать. Нет способа борьбы с Иваном Матвеевичем.

Евгений Борисович Дынкин: Так что Иван Матвеевич сильнее ЦК, да?

И.И.: В некоторых вопросах. Но за границу Гельфанду несколько раз все же удалось ездить. Ну хорошо, теперь я перейду к самой, может быть, последней части.

Е.Б.: Расскажите историю вашего отъезда [в Израиль].

И.И.: Ну, тут есть очень сложная проблема, о которой мне не хочется разговаривать: дело в том, что мой сын жил отдельно от меня со своей матерью, и пока они не приняли решения, я не собирался ехать, потому что я бы его оставил уже совсем. И, несомненно, если бы они не поехали, я бы не поехал тоже. Но в тот момент, когда это уже стало близко, был мой первый разговор с Гельфандом. Это было осенью. Насколько я помню, я получил разрешение в 76-м году.

Е.Б.: То есть, прошло два года примерно.

И.И.: Примерно два года я ждал, значит, я подал в 74-м году. Мой сын уехал в марте 74-го года, 10 марта. Я сам уехал 20-го февраля 76-го года. Значит, осенью 73-го года я разговаривал с Гельфандом в первый раз. Значит, в это время уже был шанс, возможность такая выросла, что мой сын поедет.

Разговор был на улице. Я в это время не мог говорить определенно, что я решил ехать, но я говорил об этом как о практической возможности, и обсуждал, что я должен делать, чтобы не подвести Гельфанда в случае, если я решусь подавать заявление. В этот момент Гельфанд, видимо, еще сам не принял решения, что он не поедет, поэтому разговор был чрезвычайно приветливый – он как бы выражал одобрение мне, но, с другой стороны, объяснял мне сложности. Гельфанд всегда интересовался иностранной политикой, и, надо сказать, неплохо в ней разбирался, и с ним всегда было очень приятно поговорить на эту тему: кто что хочет, кто что собирается сделать. И он мне объяснял, что политическое положение неопределенное, и приводил аргументы, – которые на меня произвели впечатление и которые я сейчас, к сожалению, забыл – почему следует на полгода все это отложить. Учитывая еще глубокий анализ международной ситуации. Так как я все равно не мог в этот момент решиться, то я с ним и согласился.

Совершенно другой характер ситуация приняла после того как мой сын решил уезжать. Интересно, что мой сын жил в доме института, но каким-то образом

так и не было известно, что они подали заявление на отъезд до того момента, когда они получили разрешение. После того как они получили разрешение, всему институту стало известно, что они уезжают в Израиль.

Е.Б.: Какой институт? ОПМ?

И.И.: Да, ОПМ, который в это время назывался ИПМ (Институт прикладной математики). И после того как это стало известно, я встретился с Гельфандом. Разговор опять происходил на улице, все разговоры на эту тему происходили на улице (может быть, неплохо: свежий воздух, мы оба укрепляли здоровье) – американцам трудно это понять, видимо даже невозможно; но, может быть, и мы перестанем это понимать через какое-то время?.. – и он мне очень жестким тоном сказал, что я должен уйти по собственному желанию.

Ну, в этот момент я принял твердое решение, что я тоже подаю заявление на отъезд, поэтому меня этот вариант вполне устраивал, и единственное, что мы с ним обсуждали – когда я буду просить характеристику (документы не рассматривались без характеристики). У меня почему-то была идея, что я должен лично попросить характеристику у Келдыша, и я как-то надеялся на то, что это мне поможет. Это, как ни странно, видимо, была правильная идея, потому что потом, в процессе борьбы за отъезд, я ходил к Келдышу на прием, и Келдыш мне сказал, что они в конце концов написали мне характеристику, в которой сказали, что я не занимался никакими секретными делами. И то, что я сижу и говорю здесь это, по-моему, является доказательством того, что Келдыш не врал. Большинство людей относилось к Келдышу плохо, но я сохранил о нем хорошую память.

Е.Б.: Мне кто-то говорил, что Келдыш стал президентом [АН СССР] под обещание правительству сделать советскую науку *Judenfrei*, что он и сделал.

И.И.: Все может быть. Но индивидуально ко мне он относился хорошо. Он помог получить квартиру в первый раз.

Е.Б. И не разобиделся после того, как вы уехали. Вы знаете, наш Федоренко тоже кому-то помогал получить квартиру, а потом этот человек подал заявление, и Федоренко на него страшно озлобился.

И.И.: Нет, не было ощущения такого. Я с ним общался мало, но, в то же время, я для него явно существовал как человек, поэтому он считался со мной.

Е.Б.: Так как же происходило все это дело с вашим отъездом? Все-таки дело было значения не только персонального, но и более широкого, я думаю. Вы пробили некую брешь, в которую потом математики хлынули. Кто из математиков до вас, собственно, уехал?

И.И.: Мойшезон.

Е.Б.: Ну да, Мойшезон. Но он был как-то более изолирован. Он имел мировое имя, но среди советского истеблишмента он, конечно, был не очень-то известен.

И.И.: На меня как раз его отъезд произвел сильное впечатление – такая цепочка.

Е.Б.: Так, значит, Гельфанд вам предложил «по собственному желанию»?

И.И.: Да. Это было оговорено и в нашем первом разговоре. Однако была существенная разница, которая состояла – даже тон, это уж ладно – в том, что в нашем первом разговоре, который был осенью, мы договаривались так: что я одновременно подаю заявление об уходе и прошу характеристику. Сейчас он просил меня разделить это перерывом. Но могу сказать, что я не был чрезвычайно счастлив, не очень мне было приятно получить эту просьбу. Но подумавши я решил, что я рано или поздно уеду; ну может быть, это будет стоить мне еще несколько месяцев борьбы – то, что я оттягиваю отъезд, выполняя просьбу. Однако все же я работал с Гельфандом столько лет – он остается тут, я не выполнил его просьбу, у него будут какие-то неприятности, я буду на себе иметь камень – и я сказал "хорошо". И это было правильно.

Е.Б.: Видимо, локально это вызвало некие осложнения, но в длительной перспективе вы чувствуете себя таким способом лучше.

И.И.: Да, в отдаленной перспективе. Я еще помню, что относительно недавно, с полгода или год тому назад Гельфанд, когда был в Париже, встретился там с известным израильским физиком Ювалом Нейманом, и потом Нейман мне говорил, что Гельфанд чрезвычайно тепло обо мне говорил – видимо, если бы я его в этот момент обидел, у меня было бы какое-то такое чувство..

Я подал заявление об уходе из института, но у меня была еще позиция без сохранения зарплаты в лаборатории прикладной математики. И так как эта позиция была без сохранения зарплаты, я считал, что раз я не получал зарплату, я не хотел уходить из этого места, пока я не получу согласия Гельфанда на просьбу о характеристике. Кроме того, я еще проявил некую хитрость: я не сдал пропуск в институт. И главная идея состояла в том, чтобы иметь возможность (я перестал получать зарплату, подал заявление об уходе – это как бы интерпретировалось тем, что я так потрясен отъездом собственного сына) пройти в институт в тот момент, когда я пойду получать характеристику – хотя это все довольно строго было. На самом деле, институт к этому времени в течение многих лет никакой секретной деятельностью не занимался. То, чем они занимались – максимум – это был расчет движения спутников и ракет, но это просто решения уравнений, что, конечно, хитрое дело, но я уверен, что в Америке аналогичные расчеты печатаются. Кроме того, они занимались конструкцией шагательных аппаратов, которые двигаются по Луне. Самый секретный отдел, который этим занимался, вел открытый семинар в Московском Университете по этому делу. Так что им было гораздо более выгодно печатать на эту тему работы, чтобы иметь контакты с иностранцами, получать возможность ездить за границу.

Е.Б.: Насколько я понимаю, главным секретом было то, что нет никакого секрета. Что все деятельность такая, что там нечего скрывать. Это и есть главный секрет.

И.И.: Да-да. Но когда-то они действительно представляли собой секретное учреждение – когда они занимались расчетами атомной бомбы, но этот период был в основном до того момента, когда я поступил туда на работу. В те времена, когда я уходил, уже много лет ничего реально секретного во всем институте не существовало, как мне кажется. Хотя я не могу это гарантировать, так как институт был устроен довольно умным способом: разные отделы действительно не знали о том, что происходит в других отделах, единственное место, где можно было узнать – это были ученые советы. Но уже несколько лет мы все во главе с Гельфандом – члены ученого совета того отдела, которым заведовал Гельфанд, перестали ходить на заседания ученого совета, которые считались секретными. Таким образом, действительно, была надежда, что ничего секретного не «висит».

Е.Б.: В какой-то момент (я не помню сейчас точно), в 66-м году, кажется, Гельфанд меня тоже стал звать...

И.И.: Уезжать?

Е.Б.: Нет-нет, поступать к нему на полставки.

И.И.: Да, у него был момент, когда он хотел пригласить Арнольда, Синая, и еще кого-то такого.

Е.Б.: У него вообще была страсть коллекционера, ему хотелось всех иметь у себя.

И.И.: Да, и, между прочим, Келдыш ему дал бы эти ставки, но Арнольд и Синай, видимо, сочли, что это нехорошо по отношению к Колмогорову.

Е.Б.: Кириллова, он, кажется, взял?

И.И.: Кириллова он взял, но Кириллов – это его собственный ученик. Я-то был как раз у него на полной ставке, а на полставки был в Университете.

Е.Б.: Гельфанд, конечно, человек сложный, трудный. У нас с ним отношения оборвались (такие, близкие отношения) очень давно. Я студентом к нему ходил (сколько лет мне тогда было? двадцать?), а потом как-то... не сошлись мы характерами. И он на меня стал очень обижен. Когда я уезжал, я ему по телефону просто позвонил – прямо в день отъезда, перед тем, как в аэропорт ехать – позвонил по телефону попрощаться. Он сказал что-то вроде: «До свидания» – всего 2-3 слова сказал, но как-то тепло сказал, окраска голоса была такая... очень теплая.

И.И.: Следующий момент был такой. Я продолжал работать в этой лаборатории, и как раз я начал даже работать еще более интенсивно. В какой-то момент Гельфанд позвал меня поговорить. Было ясно, какая тема. Я пришел к нему домой, мы вышли на улицу. Он сказал мне, что я ставлю порядочных людей в тяжелое положение, из-за меня закроют то-се, другое-третье. И, кроме того, он сказал мне, что все равно он реорганизуем лабораторию, проведет организационное мероприятие, после чего я все равно перестану числиться заведующим группой. Ну, я сказал, что, конечно, я согласен на это, но не могу сделать этого до того, как смогу подать заявление. На что Гельфанд сказал, что, конечно, я могу просить характеристику. Я тогда принес в лабораторию свое заявление, но мне тут же сообщили, что лаборатория так реорганизована, что по новой номенклатурной системе я уже не числюсь там заведующим отделом. Но все эти игрушки мало оказали на меня влияние. Ну, я понимаю, что он просто перепугался.

И я пошел просить характеристику. К сожалению, в этот момент Келдыш уже заболел. Не помню, с кем я разговаривал, как я просил характеристику (или я подал письменное заявление?...). Это у меня совершенно вылетело из головы.

Е.Б.: Характеристику они вам дали без особенного затруднения?

И.И.: Да. А может быть, я разговаривал с Ченцовым.

Е.Б.: Кстати, а что вы скажете о Ченцове? Ченцов же был мальчиком у меня.

И.И.: Да, это, по-моему, очень умный человек, я его положительно воспринимаю.

Е.Б.: Ченцов, насколько я понимаю, был у меня в школьном кружке, ему было вообще 15 или 16 лет.

И.И.: Вообще, с ним судьба несправедливо обошлась, потому он оказался около Гельфанда, а если бы он оказался в районе, например, Виноградова, то он давно бы уже был член-корреспондентом. Единственный его недостаток был, что он при Гельфанде. Он, тем не менее, не бросал, и, видимо, сейчас не бросил Гельфанда.

Е.Б.: Ну, наверное, нет. Но член-корреспондентом он, конечно, хочет стать.

И.И.: Да, но имея в качестве патрона Гельфанда, это почти так же как будто он уже немножечко еврей. Также как и Кириллов, говорят.

Е.Б.: Но Кириллова не пускают даже на [Международный Математический] Конгресс.

И.И.: Но, может быть, за то, что он подписал письмо по поводу Есенина-Вольпина.

Е.Б.: Ну, господи, сколько лет прошло, уже всех простили.

И.И.: Всех простили, да? Ну, может быть, тогда не из-за этого.

Е.Б.: Ну, то есть, как кого... Кого надо – так простили в тот же момент. Не надо – так, конечно, никогда не простят.

И.И.: Нет, ну, по-моему, Манина до сих пор не простили.

Е.Б.: У Манина гораздо худшая «вина» есть – у Манина мама еврейка.

И.И.: Но ведь до того, как он подписал письмо по поводу Есенина-Вольпина, он ездил за границу.

Е.Б.: Ну, может быть, опознали маму, или, может быть, было трудно мотивировать прямо мамой, я уж не знаю...

И.И.: А жена у него? Он женился во второй раз?

Е.Б.: Не знаю. Вообще, есть люди, так сказать, евреи не по крови, а по духу.

И.И.: Видимо, он идет "евреем по духу", потому что благодаря тому, что он все же не по крови, его все же держат в Стекловке и в Университете. Но для заграницы – для инстанций, которые рассматривают вопросы заграницы – они смотрят глубоко в корень. И там они распознают его внутреннюю еврейскую сущность. Хотя это очень жалко.

И.И.: Я сейчас вспоминаю, что я составил некий текст характеристики, и там шла довольно напряженная борьба: какие-то фразы были вычеркнуты, какие-то добавлены.

Е.Б.: Это такая парадоксальная ситуация, что чем хуже, тем лучше.

И.И.: Да. Но я настаивал на том, чтобы там не писали, что я ни в чем не участвовал, но они что-то из этого написали, а что-то не написали. В конце концов, я какую-то характеристику получил и подал с этим документом.

Несколько этапов моей борьбы за отъезд заслуживают интереса. Один из них – самый, может быть, смешной эпизод – что в это время гремел научный семинар, который организован был Воронелем и Азбелем, и он доставлял очень много неприятностей КГБ, поэтому КГБ страшно не любило этот семинар. И вот такой профессор, Зуховицкий Семен Израилевич, к которому я то время часто ходил в гости – он тоже очень был близок к тому, чтобы подать, и в период, когда я уже получил отказ, а он еще не подал – он хорошо знал иврит (он получил в детстве традиционное еврейское воспитание, и даже, более того, он получил в какой-то форме диплом раввина; он любил иврит, это был один из важнейших элементов в жизни – язык), поэтому он, желая гарантировать себе отъезд, мы с ним не стовариваясь начали разыгрывать такую вещь: мы разговаривали по телефону о том, что будет, если ему откажут.

Е.Б.: Работали на пленку, на магнитофон, да?

И.И.: Да. При этом мы обсуждали план семинара, который мы устроим, если он подаст, а ему откажут. Но эти разговоры никогда не были на русском языке. Эту тему мы всегда обсуждали на иврите. Вообще, большая часть наших телефонных разговоров проходила на иврите, а уж этот вопрос всегда обсуждался только на иврите.

Е.Б.: Вы думали, что это их больше заденет?

И.И.: Да, мы тем самым «секретили» это. В действительности, ни у одного из нас ни малейшего желания организовывать этот семинар не было. На самом деле, мои ребята ко мне ходили, и это действительно был некий научный семинар, но он не только не рекламировался, а представлял собой секрет, чтобы не подвести моих ребят.

Е.Б.: И поэтому вы играли на пленку?

И.И.: Да. И поэтому у меня, конечно, не было желания завести второй семинар, такой полуполитический, потому что семинар Азбеля и Воронеля – хотя они изображали и научный – на самом деле он был в значительной степени политический. Но считается, что КГБ нельзя обмануть. И поэтому мы были поражены (я был особенно поражен), как легко оно попало на эту удочку. В какой-то момент, когда я был уже близок к тому, что КГБ меня отпустит – уже было уже года полтора после того, как я подал заявление на отъезд, может быть, даже год с чем-то, вблизи какого-то празднования Академии Наук. (Это было какое-то уникальное празднование, какое-то трехсотлетие, что ли? На которое всех страшно боялись пригласить, и поэтому приглашали только чрезвычайно проверенных иностранных ученых; из математиков Лере приехал).

Так вот, КГБ тоже проводило подготовку, чтобы никаких инцидентов не было. Меня вызвали в КГБ, и сказали, что они меня скоро отпустят, но что они просят меня не начинать семинара. Надо сказать, что это было для меня чрезвычайно неожиданное заявление, потому что я думал, что, может быть, прожду много лет. Но поэтому я допустил некую ошибку: я тут же согласился не начинать семинар и как-то слишком легко. Кроме того, я поверил – КГБ довольно часто обманывает, но тут я поверил этому человеку, и это было правильно.

Е.Б.: У вас был какой-то персональный кум?

И.И.: Да, был у меня какой-то Груздов, тот же человек, который до этого занимался делом моего ученика Новодворского. Он тогда-то и позвонил. Интересно сказать, как КГБ вызывало. Он позвонил, и сказал, что я, дескать, знаком был с вашим учеником Новодворским.

Е.Б.: Он не сказал, кто он есть?

И.И.: Он представился по фамилии.

Е.Б.: А учреждение?

И.И.: Сказал, что говорит представитель Комитета Государственной Безопасности. «Я занимался Вашим учеником, благодаря мне он получил разрешение, пожалуйста, приходите.»

Е.Б.: Что ж, вполне честно. По крайней мере, он не выдавал себя за другого.

И.И.: Нет-нет. Дело в том, что для КГБистов очень важным является, чтобы к ним люди пришли своими ногами, что называется, без привода – это как бы служит доказательством перед начальством, что они умеют хорошо работать с народом. Поэтому им нужно умело подать себя.

Е.Б.: И это товарищ Груздов, да?

И.И.: Груздов. Этот же человек беседовал потом с Асбелем и несколько раз беседовал с Браиловским, по-видимому, хотя в этом я менее уверен (а может быть, и до этого беседовал).

Хотя, как для всякого русского человека, это довольно страшно было, я помню, что я в основном хорошо собой владел, и, видимо, правильно оценивал ситуацию. Если бы я ему не поверил, я бы, конечно, не дал бы ему никакого обещания, но поскольку я ему поверил, то я дал ему это обещание. Одновременно с этим Жищенко – был такой человек, который работал при Боголюбове.

Е.Б.: Подождите, а это не он был сейчас вместе с Понтрягиным на Международном Математическом Конгрессе в Хельсинки?

И.И.: Он и был. Это тоже очень сложная фигура, которую, например, Шафаревич очень критикует (это был один из учеников Шафаревича), и, с одной стороны, вероятно, правильно – то, как Жищенко себя ведет, повидимому, действительно доказывает, что он как-то связан с КГБ, но, с другой стороны, он, видимо, представляет собой такое рациональное зерно, разумное начало этого учреждения.

Е.Б.: Кто-то мне говорил из евреев, что с КГБ иметь дело лучше, чем с их местной партийной организацией.

И.И.: Это верно, да.